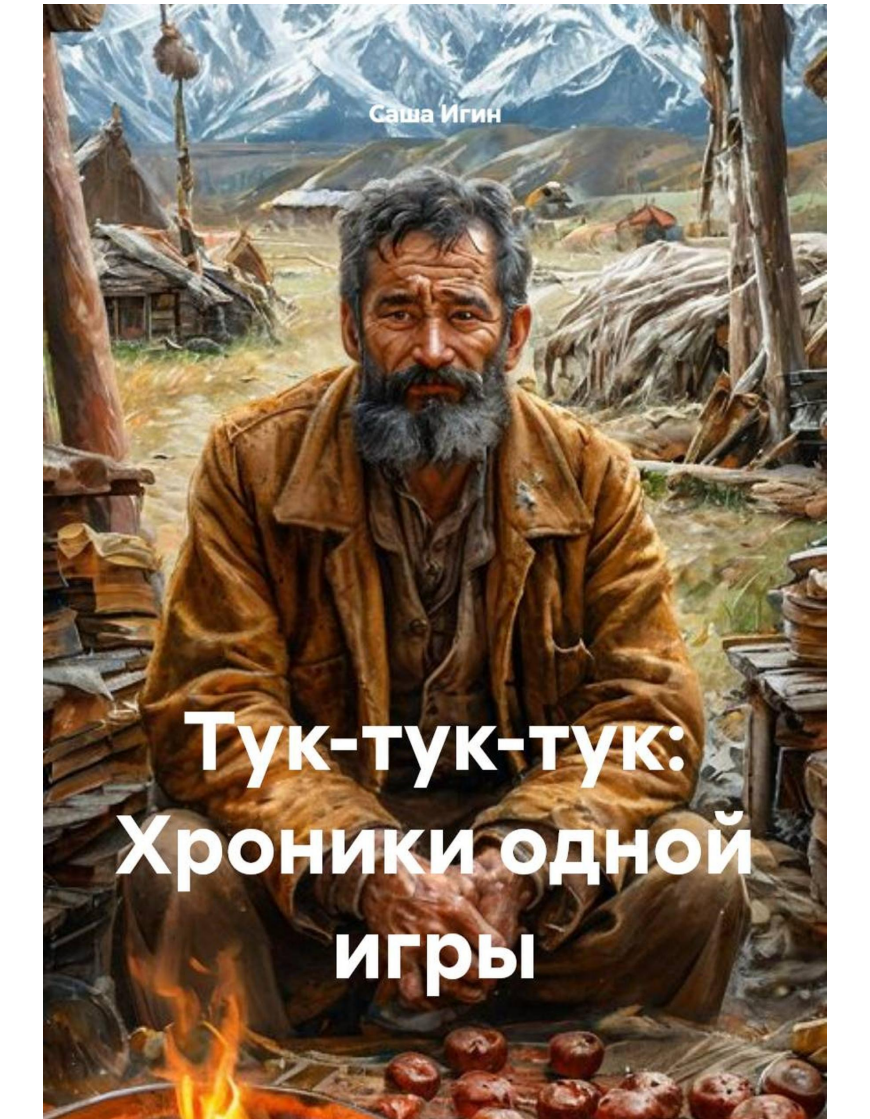




Саша Игин

Тук-тук-тук: Хроники одной игры

Саша Игин

Тук-тук-тук:

Хроники одной игры

<https://litres.ru/74145679>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он приехал в аул к старым родителям и услышал шелканье шариков. Молодой писатель Искандер Аысов, выпускник Института культуры им. Аль-Фараби, сотрудник чимкентской библиотеки, обнаружил, что в городе об игре тогыз-кумалак забыли. Но в степи — в каждой сакле, у каждого костра — старики всё еще помнят. Они помнят великого игрока Каратая, который не проиграл ни одной партии за сто лет, который оставлял противнику один шарик, чтобы игра продолжалась.

Искандер начинает свое исследование. Он едет по аулам, записывает пословицы, песни акынов, воспоминания свидетелей. Он просеивает речной песок Арыси и Бадама, чтобы найти жемчужины народной мудрости. Он встречается слепых стариков, которые видят больше зрячих, и молодых игроков, которые верят в бессмертие игры.

Это роман о том, как один человек спас от забвения игру, в которой девять шариков весят больше девяти томов законов. Это

история о том, что игра никогда не заканчивается, пока есть те, кто помнит.

Саша Игин

Тук-тук-тук:

Хроники одной игры

Глава первая. В которой шарики из овечьего помета говорят громче слов, а Искандер Аысов обнаруживает, что Чимкент забыл язык своих предков, и просыпается с соленым привкусом звезд на губах

Сначала был сон. Или не сон, а предчувствие, которое вползло в голову Искандера за три дня до поездки, когда он стоял в чимкентской библиотеке имени Аль-Фараби и протирал пыль с корешков собрания сочинений Бальзака.

Ему приснилось, что он — шарик. Маленький, высушенный на солнце, вылепленный из овечьего помета и крови, коричневый, шершавый, пахнущий летом. Чья-то огромная рука, вся в трещинах, как дно пересохшего озера, взяла его и бросила в лунку. Там, в лунке, было темно и тепло, пахло тысячелетиями, и оттуда доносился шепот: «*Считай, Искандер. Считай, чтобы не пропасть*». Он попытался выкатиться, но рука снова схватила его и переложила в другую лунку, потом в третью, четвертую... Всего их было девять. И в каждой сидел старик с седой бородой, в каждой старик открывал рот и произносил одно и то же имя: «*Каратай*». Когда Искандер проснулся на своей продавленной кушетке в

комнате, снятой у старой узбечки в Чимкенте, его губы были солеными. Он лизнул их — пахло морем, хотя до моря было три тысячи километров, и в степи никогда не было моря, если не считать высохшего Арала, который тогда еще только начинал умирать.

Он сплюнул соль на пол, долго смотрел на потолок, где трещины складывались в карту древних караванных путей, и вдруг понял: надо ехать. Немедленно. К родителям. В Арысь. Там, где воздух пахнет не выхлопными газами и книгами, а навозом, пылью и детством. В тот же день он взял в библиотеке отпуск — свой первый отпуск за два года — и купил билет. Коллеги удивленно пожимали плечами. Заведующая, тучная женщина по имени Рахима, которая любила повторять, что библиотека — это храм, а книги — иконы, сказала ему в спину: *«Ты же писатель, Искандер. Зачем тебе эта пыль? Ты должен сидеть и творить. А не ездить по аулам, где даже электричества нет»*. Он не ответил. Он знал, что настоящее творчество не рождается в храмах. Оно рождается в пыли, в грязи, в тех местах, где слова еще не успели окаменеть.

Двадцать третьего октября тысяча девятьсот восемьдесят шестого года, в среду, когда ветер с Муюнкумов гнал по Арыси рыжую пыль, похожую на толченый кирпич, — нет, не на кирпич, а на сушеную кровь баранов, которых резали здесь тысячу лет, — Искандер стоял на перроне и смотрел, как поезд «Ташкент—Москва» уносит вдаль облако уголь-

ного дыма. В кармане его поношенного, но еще хранящего запах библиотечного плесневелого счастья пиджака лежал билет в одну сторону — в аул Караша, к старым родителям, которых он не видел два года.

Два года. Целых два года он глотал чимкентскую пыль, писал свои романы — три пухлых тома, которые никто не читал, кроме него самого и его соседки, старой Майры, которая брала книги, чтобы подкладывать их под ножку шаткого стола. Первый роман назывался «Свет на ГЭС», и в нем комсомольцы строили плотину и целовались под дождем, хотя в реальности в те годы дождей почти не было, а комсомольцы пили самогон и ругались матом. Второй роман назывался «Степная любовь» — о трактористе и доярке, которые боролись за урожай, и Искандер втайне надеялся, что его опубликуют в журнале «Простор», но не опубликовали, потому что доярка в финале умирала, а советская литература не любила смертей без героизма. Третий роман, самый худший, он сжег в печке прошлой зимой, когда в комнате было так холодно, что замерзала вода в графине, и он понял, что его слова не греют. Ни его, никого другого.

И вот теперь он стоял на перроне, сжимая в потной ладони билет, и чувствовал, как степь уже начинает звать его обратно, как будто она была живым существом с огромными легкими, которые вдыхали его и выдыхали обратно. Он сел в электричку — дребезжащий вагон, пропахший потом и махоркой, — и всю дорогу смотрел в окно. За окном плыли

барханы, серые от пыли, пастбища, на которых паслись тощие коровы, и редкие аулы, где дети играли в футбол разбитым мячом. Искандер думал о том сне. О шарике. О девяти лунках. О том, как его дед, Куандык, когда Искандеру было семь лет, впервые посадил его перед деревянной доской и сказал: *«Смотри, внук. Здесь девять лунок. Как девять родов, как девять месяцев, как девять жизней у kota. А шарики — это наш скот. Тот, кто умеет считать, никогда не умрет с голоду»*. Искандер тогда засмеялся, потому что шарики были из овечьего помета, и они пахли, и он не хотел их трогать. Он хотел читать книжки с картинками, которые ему привозила мать из райцентра. А дед вздохнул и убрал доску в сундук, и больше никогда не доставал ее при внуке. *«Не твое, — сказал он. — Ты будешь человеком книг. А это — игра кочевников. Для тех, кто помнит ветер»*.

Он не помнил ветер. До сегодняшнего дня.

Электричка остановилась на полустанке, где вместо вокзала был просто навес из ржавого железа. Искандер вышел и зажмурился от солнца. Арысь встретила его запахами: сначала ударил запах свежего хлеба из пекарни, потом запах навоза, перемешанный с полынью, потом — запах дыма от костров, которые жгли где-то за аулом, и, наконец, тот странный, сладковато-горький запах, который он помнил с детства, — запах старого шурупа, в котором годами копилась мудрость. Искандер пошел по пыльной улице, и каждый шаг отдавался в его груди эхом.

Он шел мимо домов — глинобитных саклей с плоскими крышами, где на веревках сушилось белье, мимо колодцев, из которых женщины тянули воду деревянными ведрами, мимо стариков, сидящих на корточках у дувалов и сплевывающих сквозь зубы. Все они смотрели на него с любопытством, но без узнавания. Для них он был чужим — городским, в пиджаке, с дипломатом, с глазами, которые слишком долго смотрели на книги и разучились смотреть на небо.

Он подошел к отцовской сакле. Она стояла на краю аула, и рядом с ней рос карагач — огромное дерево с корнями, которые вылезали из земли, как пальцы утопленника. Ветви карагача были голыми — октябрь, осень, — и на них сидела ворона, огромная, черная, размером с курицу, и смотрела на Искандера так, будто знала, зачем он пришел. *«Кар, — сказала ворона. — Кар-кар»*. И он почему-то услышал в этом карканье слово *«Каратай»*.

Он толкнул калитку. Она скрипнула, как будто не открывалась последние сто лет. И тут он услышал их. Голоса. Голоса, которые лились из приоткрытой двери сакли — хриплые, радостные, возбужденные. Крики, хлопки, щелканье — сухое, ритмичное, как треск кузнечиков в июле, как звук костей, которые бросают на барабан. Потом раздался звук, который он не мог спутать ни с чем: звук деревянных шариков, пересыпающихся в деревянные лунки. Тук-тук-тук. И снова — щелчок. И восторженный вопль.

Отец сидел в центре. Он сидел на кошке, сдвинув набок

свою старую тубетейку, лицо у него было красным, как помидор, который вырастила мать в своем крошечном огороде на заднем дворе, — такие красные помидоры бывают только в степи, где ночи холодные, а дни жаркие, и они трескаются от перепадов температуры, как сердца стариков. Напротив отца сидел дядька Сапар — пастух, который пас отару в триста голов и у которого не было двух верхних зубов, но зато был такой голос, что козлы шарахались в стороны, а собаки поджимали хвосты. Сапар сидел, согнувшись над доской, и его пальцы — толстые, мозолистые, в трещинах, пахнущие овчиной и табаком — летали над лунками, как ястребы.

Доска была старой. Она была черной, как уголь, как ночное небо без звезд, вытертой до блеска тысячами партий, сыгранных за сотню лет. По краям доски были выжжены узоры — спирали, которые, как знал Искандер из дедовских рассказов, означали бесконечность движения, круговорот жизни и смерти. В лунках лежали шарики — уже не те, из овечьего помета, а настоящие, стеклянные, синие и зеленые, привезенные откуда-то из Алма-Аты, может быть, даже с Москвы. Синие напоминали ему глаза его первой любви, девочки Гульнары, которая уехала в Россию и больше не вернулась. Зеленые — цвет весенней травы, которой здесь, в октябре, уже не было и в помине.

Искандер замер на пороге. В горле у него пересохло. Он хотел позвать отца, но язык прилип к нёбу, потому что он

вдруг увидел: отец не просто играет. Отец *танцует*. Его единственная рука — вторая была ампутирована еще на войне, когда ему оторвало пальцы осколком, и он научился писать левой, но играть в тогыз-кумалак мог только правой, единственной уцелевшей, — эта рука двигалась плавно, как змея по песку. Она брала шарик, взвешивала его на ладони, принималась к нему (Искандер видел, как отец по-звериному шевелит ноздрями!), и бросала в лунку. И каждый бросок сопровождался вздохом — то ли молитвой, то ли проклятием. А глаза отца — эти глаза, которые всегда были мутными от старости и горя, — сейчас горели. Они горели зеленым огнем, как у волка, который выслеживает добычу.

И тут Искандера словно ударило под дых. Сначала он подумал, что это от жары — хотя было всего двадцать градусов. Потом — что от запаха кумыса, который стоял в центре стола, в большом деревянном чане, и от кумыса шел такой дух, что кружилась голова. Но потом он понял: дело в другом. В воздухе висело что-то древнее, что-то, от чего у него волосы встали дыбом. Что-то, похожее на электричество, на предгрозовое напряжение. Отец и дядька Сапар не просто играли. Они *разговаривали*. Каждый ход был словом. Каждое щелканье — буквой. И этот язык был старше любого алфавита.

— Ата, — позвал Искандер с порога, и голос его прозвучал тонко и жалко, как голос подростка.

Отец не обернулся. Только махнул рукой — левой, здо-

ровой, — не глядя: *«Погоди, сынок. Видишь, тут жизнь решается»*. Он сказал это таким тоном, будто речь шла о войне, о мире, о том, кто будет жить, а кто умрет. Искандер замер. В городе, в его родном Чимкенте, где он работал в библиотеке имени Аль-Фараби, где по вечерам люди выходили в парки и играли в шахматы, где на столах лежали «Известия» и «Правда», про эту игру почти никто не знал. Когда он, возвращаясь с работы, спрашивал у коллег-библиотекарей, не попадалось ли им что-нибудь о тогыз-кумалаке в литературе — может быть, в древних рукописях, в фольклорных сборниках, в воспоминаниях путешественников, — они недоуменно пожимали плечами.

Молодая сотрудница Алия, которая писала диссертацию о творчестве Ауэзова, сказала: *«Ну, у Ауэзова есть пара сцен в "Пути Абая", но это так, бытовые зарисовки. Примитив, вроде нардов или шашек. Не более того»*. Заведующая Рахима добавила: *«Зачем тебе это, Искандер? Нам нужны книги о строительстве коммунизма, а не о каких-то там шариках. Это же пережиток прошлого. Феодальный дурман»*. И только старый библиотекарь Абдрахманов, который собирал фольклор по аулам еще в тридцатые годы и которого все считали чудачком, однажды отозвал Искандера в угол и шепнул ему: *«Искандер, не ищи в книгах. Ищи в степи. Книги врут. Там, где буквы, там всегда ложь. А игра помнит. Она никогда не врет. Ты слышал про Каратай?»*. Искандер тогда не слышал, а Абдрахманов вдруг испугался, замолчал, замахал

руками, как будто отгонял мух, и ушел, бормоча что-то под нос. И больше никогда не подходил к Искандеру.

И вот теперь он стоял на пороге отцовской сакли, смотрел на игру и вдруг понял: Абдрахманов был прав. Книги врут. Потому что они мертвые. А это — живое. Живое, как кровь, как дыхание, как огонь.

Отец сделал ход. Он взял три шарика из седьмой лунки — зеленых, блестящих, — переложил их в свой туздык, казну, и щелкнул языком. Дядька Сапар застонал, как будто ему ударили в живот, откинулся на кошму и захохотал — хрипло, надрывно, так, что его кадык заходил ходуном.

— Опять ты, Кудайберген, опять! — закричал он, хлопая себя по коленям. — Где ты научился так считать? Ты же всю жизнь на одной ноге сидишь, а считаешь, как три бухгалтера!

— Степь научила, — спокойно ответил отец. — Степь не прощает ошибок. Если ты ошибешься в счете, ты умрешь. Твои овцы умрут. Твои дети умрут. Поэтому мы учимся считать с молоком матери. — Он подмигнул Искандеру, но тот все еще стоял, не в силах пошевелиться. — Садись, сынок. Посмотри, как твой старый отец обдирает этого бараньего упрямца.

Искандер сел в углу, на старый сундук, покрытый ковром с выцветшими узорами. Он сжимал свой дипломат, в котором лежали его романы — ненужные, никем не читанные, — и смотрел. Каждое движение отца, каждое щелканье шариков отзывалось в нем дрожью. Он вдруг с острой, почти

физической болью осознал, что он ничего не знает. Ничего. Он, кандидат в члены Союза писателей (еще не приняли, но уже подавал документы), автор трех романов, человек, который считал себя интеллигентом и просветителем, не знал самой главной игры своего народа. Более того — он презирал ее. Когда-то, в детстве. Он презирал эти грязные шарики из овечьего дерьма, он стеснялся их, когда в школу приезжали проверяющие из района. Он прятал доску, которую вырезал дед, под кровать. *«Мы не варвары, — говорил он матери. — Мы должны быть культурными»*. А теперь он сидел и смотрел, как эта «варварская» игра превращает его одноногого отца, вечно кислого и недовольного, в царя.

Дядька Сапар проиграл. Он проиграл с треском, с воем, с проклятиями. Он швырнул последний шарик на пол, и тот покатился по земляному полу, и Искандеру показалось, что шарик катится прямо к нему, как будто хочет сказать: *«Возьми меня. Ты тоже можешь играть»*. Но он не взял.

Отец откинулся на кошму и засмеялся — первый раз за десять лет, как помнил Искандер. Засмеялся так, что его единственная нога дернулась, и он хлопнул ладонью по доске — громко, звонко, как будто бил в барабан:

— Ты, Сапар, думал, что я старый? Думал, забыл, как считать?

— Забыл? — хрипло рассмеялся Сапар, поднимаясь и оправляя свой засаленный халат. — Да ты, Кудайберген, как верблюд в течке — ничего не забываешь. Ты же из тех, кто

помнит Каратая. Ты с ним играл, когда ему было пятнадцать, а тебе — двадцать. Ты помнишь его ходы. Вот почему ты меня бьешь. Ты бьешь меня не своей силой — ты бьешь его силой.

В сакле повисла тишина. Такая тишина, что слышно было, как за стеной мышь скребется в мешке с зерном. Отец, все еще красный от победы, вдруг побледнел так сильно, что его лицо стало цвета топленого молока. Он махнул рукой, приказывая замолчать, и прошипел сквозь зубы:

— Замолчи, Сапар. Не поминай его всеу. Про Каратая сейчас не говорят. Власть не любит. Ты что, не знаешь, что было в семьдесят пятом? Что делали с теми, кто распространял слухи?

Сапар захлопнул рот. Он посмотрел на Искандера, потом на отца, потом снова на Искандера, и его глаза — коровьи, влажные, с красными прожилками — вдруг наполнились страхом. Он торопливо поклонился — низко, почти-тельно, по-стариковски, — что-то пробормотал про чай, про овец, про то, что ему пора к стаду, и вышел. Дверь за ним скрипнула, и скрип этот был похож на стон.

Искандер остался один с отцом. Он смотрел на отца, а отец смотрел на доску. Шарик — синие и зеленые, стеклянные и холодные — лежали в лунках, и казалось, что они тоже слушают. Что они ждут, когда кто-то заговорит.

— Кто такой Каратай? — спросил Искандер. Он не хотел спрашивать. Язык его спросил сам. Спросил так, как будто

не он, Искандер, а тот маленький мальчик, который сидел на коленях у деда и смотрел на шарики из помета.

Отец долго молчал. Он достал из кармана халата кисет с табаком, скрутил папиросу дрожащими пальцами, затянулся. Дым поплыл к потолку — синий, густой, пахнувший махоркой и смертью. Потом он сказал, глядя в стену, в трещину, которая напоминала карту Азии:

— Каратай — это был человек. Или не человек. Не знаю. Я сам не знаю, сынок. Я играл с ним один раз. В тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году, когда мне было двадцать, а ему, говорят, было уже за сотню. Он сидел напротив меня, и у него не было глаз. Вообще. Выбиты. Но он видел больше, чем я с моими двумя. Он видел все ходы на девять ходов вперед. Он выиграл у меня в три хода. Три хода, Искандер! Я тогда упал с коня, когда узнал, что проиграл, потому что мне казалось, что я непобедим. А он встал, взял мой туздык — все мои шарики, все тридцать два! — и отдал их обратно. "Приходи завтра, — сказал он. — Я тебя научу". Но я не пришел. Я испугался. Потому что я понял: он не человек. Он — дух. Дух степи. И если я еще раз сяду с ним играть, он заберет мою душу.

Отец замолчал. Он затушил папиросу о край доски — прямо о седьмую лунку, — и пепел упал в углубление, смешался с шариками.

— А где он сейчас? — спросил Искандер, чувствуя, как у него пересохло во рту.

— Умер, — коротко сказал отец. — Или не умер. Говорят, он ушел в степь. В тысяча девятьсот семьдесят восьмом. Ушел и не вернулся. Говорят, он играл с самим собой. Сорок дней и сорок ночей. А потом просто лег на песок и закрыл глаза. И шарики его разбежались по степи, и теперь, если ночью выйти в пустыню, можно услышать, как они перекатываются. Тук-тук-тук. Это он, Каратай, считает звезды.

Искандер не спал три ночи. Он ходил по аулу, как призрак, как тот самый шарик, который ему приснился в Чимкенте. Он вглядывался в лица стариков, сидящих на корточках у дувалов. Они ковыряли в носу, плевали в пыль, говорили о погоде и об овцах, о ценах на базаре в Шымкенте и о том, что в этом году зима будет холодной. Но стоило ему подойти и заговорить о тогыз-кумалаке, как их лица становились каменными. Они отводили глаза. Они начинали кашлять. Они говорили: *«Не знаем, сынок. Мы люди простые. Мы только овец пасем»*.

Особенно когда он произносил имя — Каратай. Это имя было как пароль. Как заклинание, которое открывало дверь в другой мир, но никто не хотел эту дверь открывать. Старики крестились (хотя были мусульманами), плевали через левое плечо, стучали по дереву. Один аксакал, по имени Сулеймен, который славился тем, что помнил все родословные до седьмого колена, даже ударил Искандера палкой по спине и закричал: *«Убирайся! Не буди мертвых! Они и так слишком много говорят!»* Искандер ушел, потирая спину, но с

еще большим огнем в груди.

Он нашел Каратая на четвертый день. Случайно. Он пошел на окраину аула, туда, где жили самые бедные, где сакли были слеплены из глины и навоза, где дети ходили босиком даже в октябре, и воздух пах не полынью, а болезнью. Там, в самой крайней сакле, сидел слепой старик по имени Султан. Ему было сто два года, и он жил один, потому что все его дети умерли — кто от голода в войну, кто от болезней, кто от той проклятой игры, о которой никто не говорит.

Искандер принес ему лепешку — теплую, свежую, которую купил у пекаря, — и пачку чая. Он знал, что старики в степи любят чай, даже если они слепые. Султан долго нюхал лепешку, водил пальцами по ее поверхности, ощупывая каждую трещинку, потом взял чай, понюхал его и отложил в сторону. Он молчал. Молчал так долго, что Искандер уже начал думать, что старик уснул. Но потом Султан открыл рот — беззубый, страшный, черный, как бездна, — и сказал:

— Ты пришел не ради лепешки. Ты пришел ради Каратая.

Искандер вздрогнул. Как старик мог знать? Откуда?

— Я знаю всё, — сказал Султан, и его голос звучал как шорох песка. — Мои уши — мои глаза. Я слышу, как ты ходишь по аулу. Я слышу, как ты спрашиваешь. Ты слишком громко дышишь, городской. Ты думаешь, что тайны хранятся в книгах. Ты ошибаешься. Тайны хранятся в молчании. Иди вон туда, — он ткнул сухим пальцем, похожим на сучок, в направлении пустыни, за аул, туда, где начинались барха-

ны и где земля становилась похожей на море, застывшее в вечном движении. — Там, за барханами, живет человек, который проиграл Каратаю не игру, а жизнь. Только он, если язык у него еще не отсох, расскажет тебе правду. Остальные будут молчать. Потому что они боятся. Не Каратая — они боятся того, что он знает. А он знает всё. О каждом. О каждой лунке. О каждом шарике.

Искандер поклонился старику. Он оставил лепешку и чай, вышел из сакли и посмотрел на пустыню. Барханы тянулись до горизонта, рыжие, как шкура верблюда, и ветер гнал по ним песок, который сверкал на солнце, как тысячи маленьких шариков.

Он шел два дня. Обжигался о песок, пил воду из бурдюка, который дал ему отец (отец не спрашивал, куда он идет, только вздохнул и сказал: *«Будь осторожен, сынок. В степи много лунок, и в каждой может быть яд»*). Искандер шел и думал. Думал о том, что он, автор трех романов, не знает своего собственного народа. В чимкентской библиотеке, в этой башне из книг, в этом храме мертвых букв, он жил среди теней. Он глотал пыль веков, перечитывал Тургенева и Чехова, восхищался Толстым, но ни разу — ни разу! — не прочитал ни одной строки о том, что здесь, на этой земле, за два дня ходьбы от его уютного кабинета, жили великие игроки. Люди, которые умели считать лучше любого компьютера. Люди, которые видели будущее в деревянных лунках. Люди, которых боялись и уважали от Ташкента до Самарканда, от

Алма-Аты до Кзыл-Орды.

Он нашел того человека на закате второго дня. Старик сидел у колодца, такого старого, что его деревянный сруб почернел от времени и был похож на ребра умершего животного. Старик шевелил губами, будто считывал невидимые узоры в песке. Его руки были скручены артритом, пальцы сведены судорогой, как когти орла, но глаза — глаза его были ясными, голубыми, не старческими, а молодыми, как у ребенка. Он смотрел на Искандера без удивления, будто ждал его всю жизнь.

— Ты про Каратая? — прошамкал он, даже не обернувшись. Его голос был похож на скрип старой арбы, на скрип несмазанных колес, который эхом разносится по степи. — Зачем тебе мертвец? Он умер в семьдесят восьмом. От лишнего шарика. Знаешь, как это бывает? Играешь в туздык, думаешь, что забрал всё, а оказывается — ты забрал не всё. Ты забрал чужую судьбу. И она давит. Она давит сильнее, чем твой собственный груз. Каратай выиграл у меня все. И жену, и отару, и дом, и даже мое имя. Он оставил мне только одежду, в которой я сидел. И я был рад, что он выиграл. Потому что он был гений. Он мог смотреть в лунки и видеть звезды. Он мог в уме просчитать сто ходов. А я — я просто пастух. Я не умел считать. Я умел только пасти.

Искандер сел рядом. Он сел на песок, не боясь испачкать свои городские брюки, потому что он понял: здесь, в степи, не бывает чистых и грязных. Есть только живые и мертвые.

— Как его звали? — спросил он. — Настоящее имя.

— Каратай, — усмехнулся старик. — Это и есть его настоящее имя. Кара — черный. Тай — жеребенок. Черный жеребенок. Потому что он был быстр, как конь, и черен, как ночь. Он родился в ауле, где не было ни одной книги, и его мать умерла при родах, и его выкормила кобылица. Вот почему он так хорошо считал. У него был не мозг человека — у него был мозг степного ветра.

Искандер достал блокнот. Ручка дрожала в руках, и чернила расплывались от пота на бумаге. Он записывал слова старика, как священные тексты.

— Расскажите всё, — попросил он. — Расскажите, как он играл. Где. С кем.

Жумабек — так звали старика, — долго молчал. Он смотрел в пустыню, и Искандер видел, как по его лицу пробегают тени прошлого. Потом он начал говорить. И говорил он всю ночь. Он говорил о том, как Каратай в четырнадцать лет обыграл самого знаменитого игрока Хивы, и тот от стыда утопился в Амударье. О том, как Каратай играл в Ташкенте, и эмир пообещал ему полцарства, если он проиграет, но Каратай выиграл и сказал: *«Мне не нужно твое царство, эмир. Мне нужна твоя мудрость. Но ты ее потерял, когда сел за доску с жадностью»*. О том, как Каратай ездил в Самарканд, где его встречали толпы, и старики плакали, когда видели его руки, потому что эти руки умели считать судьбы.

Но самое страшное Жумабек рассказал на рассвете, когда

над пустыней встало красное солнце, похожее на шарик, выпавший из лунки.

— Последняя игра Каратая была с самим собой, — сказал Жумабек, и голос его стал тихим, как шепот. — Он ушел в пустыню, взял доску, шарики и сел играть. Сорок дней и сорок ночей. Он играл за белых и за черных. Он играл так, как будто решал судьбу мира. А потом, говорят, он остановился и заплакал. Потому что он понял: в этой игре невозможно победить. Даже если ты самый сильный, самый умный, самый быстрый — ты все равно проиграешь. Потому что против тебя играет время. И время всегда выигрывает. Он оставил на доске один шарик — для себя. А остальные разбросал по степи. И с тех пор, если ночью выйти в пустыню, можно услышать, как они перекатываются. Тук-тук-тук. Это Каратай продолжает играть. Он играет до сих пор.

Искандер записал последние слова. Он посмотрел на свои руки, испачканные чернилами и песком, и вдруг понял: он больше никогда не напишет ни строчки о комсомольцах и ГЭС. Его призвание — здесь. В этой пустыне. В этих лунках. Он напишет роман о Каратае. О великом игроке. О человеке, который умел считать лучше любого компьютера и который ушел в песок, чтобы не проиграть времени.

В ту ночь, глядя на костер, вокруг которого сидели призраки великих игроков (Искандер видел их, хотя Жумабек утверждал, что это просто тени от огня), он записал в свой блокнот первую фразу, которая потом станет эпиграфом к

его роману, к тому самому роману-исследованию, который он будет писать шесть лет и который так и не опубликуют при его жизни:

«Когда умрет последний игрок, доска все равно будет поминуть. И ждать. Потому что девять лунок — это девять родов человеческих, и они никогда не могут быть пустыми, даже если в них ветер».

А где-то в Чимкенте, в его библиотеке, на его рабочем столе, покрытом слоем пыли, лежала недописанная повесть о комсомольцах. Заведующая Рахима уже положила на нее новый номер «Дружбы народов», даже не заметив. Искандер знал, что он больше никогда к ней не вернется. Потому что степь позвала его домой. И эта степь говорила на языке игры, который был древнее всех книг мира, на языке щелкающих шариков и девяти лунок, в каждой из которых пряталась вечность.

Он свернул блокнот, подбросил в костер сухой саксаул, и пламя взметнулось вверх, осветив лица стариков — Жумабека, отца, слепого Султана, которые сидели в кругу и молчали. Они ждали. Они знали, что Искандер напишет эту книгу. И они знали, что эта книга будет не о Каратае. Она будет о них всех. О степи, которая не умирает. О шариках, которые катятся в вечность. О девяти лунках, в которых отражаются все звезды, которые когда-либо видели кочевники.

Искандер закрыл глаза. Ветер донес до него далекий звук — тук-тук-тук. Шарика перекатывались в пустыне. Или это

билося его собственное сердце?

Он не знал. Он знал только одно: завтра он поедет дальше. В аулы, которые даже на карте не отмечены. К старикам, которые помнят. К игре, которая никогда не кончается. Потому что его роман только начинался. А роман, как и тогыз-кумалак, — это всегда только начало. И в конце, когда будет сделан последний ход, доска не опустеет. Она будет ждать нового игрока.

Тук-тук-тук.

Считай, Искандер. Считай, чтобы не пропасть.

Глава вторая. Где Искандер Аысов ныряет в бумажное море, ловит рыбу-правду и понимает, что буквы солгали, а шарики — нет

Из пустыни Искандер вернулся другим человеком. Он вернулся в аул Караша, поцеловал мать — она плакала, думая, что он пропал в барханах, — обнял отца, который молча похлопал его по спине здоровой рукой, и уже на следующий день сел в поезд до Чимкента. В кармане у него лежал блокнот, исписанный до последней страницы. Запах степи въелся в его одежду, в его волосы, в его кожу — запах полыни, верблюжьей шерсти, старого дерева и девяти лунок. Он не смывал этот запах. Он боялся его потерять.

В Чимкенте его встретил привычный городской шум — гудки машин, голоса торговков на базаре, запах бензина и горячего асфальта. Но теперь этот шум казался ему фальшивым, как дешевая подделка под настоящий голос степи. Он

шел по улицам и смотрел на людей, которые торопились по своим делам, и думал: *«Они не знают. Они никогда не узнают. Они живут в мире букв, а мир букв — это тюрьма»*.

Библиотека имени Аль-Фараби встретила его знакомой затхлой прохладой. Книжные стеллажи тянулись до потолка, как ряды солдат в вечном строю. Запах старой бумаги, плесени и типографской краски ударил в нос, и Искандер почувствовал, как его горло сжалось от тоски. Раньше этот запах казался ему священным. Теперь он казался ему запахом смерти. И всё же он пришел сюда не для того, чтобы предавать книги. Он пришел сюда, чтобы найти в них то, что они спрятали.

Он снял пиджак, повесил его на спинку стула, сел за свой рабочий стол в читальном зале. За столом напротив сидела Алия — та самая молодая сотрудница, которая писала диссертацию об Ауэзове. Она подняла глаза от стопки книг и улыбнулась ему той дежурной улыбкой, которую приберегают для коллег, но не для друзей.

— Искандер! Ты вернулся. Ну как там, в твоей глуши? Пыльно?

— Пыльно, — ответил он, и голос его прозвучал сухо, как треск саксаула в костре. — И очень много овец.

— Овцы — это хорошо, — сказала Алия. — Овцы — это мясо. — Она засмеялась, но Искандер не засмеялся. Он смотрел на неё, и ему хотелось крикнуть: *«Ты не понимаешь! Там, где овцы, там есть игра. Там есть Каратай! Там есть*

девять лунок, которые могут рассказать больше, чем все твои диссертации!» Но он сдержался. Он слишком хорошо знал эту библиотеку, чтобы кричать в ней. В библиотеках не кричат. В библиотеках шепчут, как в храмах.

Вместо этого он сказал:

— Алия, мне нужна литература. Вся литература. О тогыз-кумалаке.

Алия подняла бровь. Тонкую, выщипанную, аккуратную — как у всех городских девушек, которые следят за модой.

— Опять ты за своё? Искандер, это же игра для пастухов. Зачем тебе?

— Для романа, — коротко сказал он. — Я пишу роман.

— Опять роман? У тебя их уже три. И ни один не опубликовали.

— Этот опубликуют, — сказал Искандер, и в голосе его прозвучала такая уверенность, что Алия вздрогнула. — Этот — особенный.

Алия пожала плечами, встала и пошла в хранилище. Через полчаса она вернулась с двумя стопками книг. Их было всего семь. Семь книг, которые за всю историю существования библиотеки упоминали тогыз-кумалак. Искандер посмотрел на эту стопку — такую жалкую, такую тонкую — и почувствовал, как его сердце сжалось в маленький шарик.

— Это всё? — спросил он, и голос его сорвался на шепот.

— Всё, — подтвердила Алия. — Что касается монографий — полный ноль. Ни одной научной работы, кроме ста-

тей в двух сборниках фольклора. Отдельной книги нет. Даже упоминаний — и то кот наплакал. У нас, знаешь, как в Союзе: если игра не связана с коммунистическим строительством, она никому не нужна. Играли в неё пастухи — и хорошо. Вот и всё.

Искандер взял первую книгу с верхушки стопки. Это был сборник фольклора, изданный в Алма-Ате в 1958 году. Он открыл его на заложённой странице — там была статья некоего Ермекова о национальных играх казахов. Искандер пробежал глазами по тексту. Статья была сухой, казённой, написанной языком партийных отчетов. Тогуз-кумалак описывался как «примитивная логическая игра, отражающая быт дореволюционного кочевого населения». Ни слова о философии. Ни слова о стратегии. Ни слова о великих игроках. Только статистика: сколько лунок, сколько шариков, какие правила.

Искандер отложил книгу. Потом взял вторую — сборник статей по этнографии, изданный в 1964 году. Здесь было чуть больше: автор, некий профессор Касымов, писал о том, что тогуз-кумалак имеет сходство с манкала — африканской игрой, распространённой в Египте и Судане. Искандер почувствовал, как кровь прилила к его лицу. Сравнить степную игру с африканской! Да это же оскорбление! Он знал, он чувствовал кожей, что тогуз-кумалак — это нечто особенное. Нечто большее. Но доказательств не было.

Он схватил третью книгу. Это был роман Мухтара Ауэзо-

ва «Путь Абая». Искандер открыл главу, которую Алия заботливо отметила закладкой. В ней описывалась сцена, где юный Абай смотрит на игру своего отца Кунанбая с мудрецом Кокпаем. Искандер прочитал этот отрывок не один раз, а десять. Он перечитывал его, впиваясь в каждую строку, в каждую запятую, в каждую букву. И чем больше он читал, тем сильнее его охватывало разочарование.

Да, Ауэзов упоминал игру. Да, он описывал её с любовью, с уважением. Но для Ауэзова игра была всего лишь фоном. Она не была *главным*. Она была бытовой деталью, как чаепитие или разговор о погоде. А Искандеру нужно было *главное*. Ему нужно было то, что лежало за пределами слов. То, что не могли описать даже великие писатели, потому что они сами не понимали этой игры до конца.

Он закрыл роман Ауэзова и откинулся на спинку стула. В голове его шумело. Он смотрел в потолок — белый, с трещинами, по которым бегали тени от ламп. И вдруг ему показалось, что эти трещины похожи на девять лунок. И он, Искандер, сидит напротив пустого противника, и этот противник — само время.

«Буквы, — подумал он. — Буквы — это шарики. Но кто их раскладывает? Кто считает? Кто видит комбинации на девять ходов вперед?»

Он взял четвёртую книгу. Это была монография по истории Казахстана, изданная в 1971 году. В ней, в главе о народных ремеслах, нашелся один абзац о тогыз-кумалаке —

сухой, как песок в пустыне Каракум. Искандер прочитал его и почувствовал, как его тошнит от этой казёнщины:

«Тогыз-кумалак — народная игра, распространенная среди казахского населения. Имеет развивающее значение для логического мышления. Не представляет культурной ценности, будучи реликтом дореволюционного быта».

— Реликт, — прошептал Искандер. — Они называют это реликтом. А Каратай? А те старики, которые играли сорок дней и сорок ночей? А те руки, которые умели считать судьбы? Это тоже реликт?

Он встал из-за стола, прошел к стеллажу с журналами и принялся листать подшивки «Простор», «Жұлдыз», «Дружба народов». Он искал любые упоминания, любые обрывки, любые отголоски. Он нашел еще три статьи — все из семидесятых, все написанные с одинаковой унылой серьезностью. Ни одна из них не упоминала Каратая. Ни одна из них не говорила о философии игры. Все они повторяли одну и ту же мантру: *«Тогыз-кумалак — полезная игра для развития логического мышления»*. И всё. Точка. Конец.

Искандер почувствовал, как его охватывает отчаяние. Он вышел из библиотеки на улицу, сел на скамейку в сквере и долго смотрел на прохожих. Матери вели детей за руки, старики играли в шахматы на бетонных столах, продавцы мороженого выкрикивали свои товары. Никто не играл в тогыз-кумалак. Никто не говорил о нём. Эта игра была мертва для Чимкента, для советской интеллигенции, для всего ми-

ра, который считал себя культурным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.